

С. Г. БОЧАРОВ

«СВОБОДА» И «СЧАСТЬЕ» В ПОЭЗИИ ПУШКИНА

Читавшие Пушкина помнят его строку:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Противоречие, высказанное в этой строке из стихотворения 1834 года, имеет в поэзии Пушкина свою историю. «Свобода» («воля») является постоянной пушкинской темой, а «счастье» в контексте особо значимых пушкинских слов всегда находится рядом, и при этом в проблемном и постоянно меняющемся соотношении со «свободой». Полное исследование этой темы по всем пушкинским текстам было бы интереснейшей задачей; настоящая статья, разумеется, подобной задачи иметь не может. Мы остановимся лишь на отдельных эпизодах из истории этой темы у Пушкина.

I.

Этот вопрос о свободе и счастье был поднят в одном из журнальных разборов поэмы «Кавказский пленник» (статья молодого М. П. Погодина¹). Автор статьи обращал особенное внимание на одно слово в тексте поэмы: «свобода»; он рассматривал ситуации, которые определяются в поэме понятием свободы, и находил противоречия. Вот основные положения критики Погодина

¹ «Вестник Европы», 1823, № 1. За подписью «М. П.» О принадлежности ее М. П. Погодину свидетельствует его дневник (см. «Пушкин и его современники. Материалы и исследования» Вып XIX — XX, Петроград, 1914, стр 68—69).

(который в целом оценивал поэму «нового Атлета Пушкина» очень высоко):

«Характер пленника странен и вовсе непонятен. В нем наблюдаются беспрестанные противоречия. Нельзя сказать, что составляет его основу: любовь, или желание свободы. Кажется, что Поэт более хотел выставить последнее». Но некоторые стихи показывают, «что и свободой наслаждаясь, пленник был бы равно несчастлив... Если ж с свободой пленник не получает счастья, то *для чего* он так жаждет ее: свобода в сем случае есть чувство непонятное, хотя при других обстоятельствах, при других отношениях, разумеется, она может составить счастье...».

Пленник тоскует, что умрет вдали от берегов желанных, где живет его любезная; но прежде он сам оставил их и полетел за веселыми призраками свободы.

Как друг Природы, он мог бы наслаждаться ею и пасты табуны Черкесские.

По крайней мере Пушкин мог привести причину желания свободы любовь к Отечеству.

После того как пленник освобожден Черкешенкой: «Зачем звал он ее бежать с собою? Неужели, сказав ей:

— Я твой навек, я твой до гроба,

он говорил правду? Неужели, получив свободу, он мог бы позабыть совсем предмет первой любви своей? Прежние чувства его противоречат этому совершенно»¹.

«Свобода», действительно, — ключевое слово в поэме. Сама поэма есть «свободной музы приношение» и в то же время — «изгнанной лиры пенье» («Посвящение» Н. Н. Раевскому): свободная муза Пушкина в изгнании 1820—1821 года. Таким образом, слово «свобода», помимо общего идейного значения, которым оно наполнено в ранней поэзии Пушкина («Хочу воспеть свободу миру», «Пока свободой горим», «Во цвете лет свободы верный воин», «Одна свобода мой кумир» — примеры из стихов 1817—1821 гг.), здесь говорило и о самом поэте в изгнании². Поэтому фраза, которою начинал свой разбор «Кавказского пленника» П. А. Вяземский: «Неволя была, кажется, Музою-вдохновительницею нашего времени»³ — в то же время определяла действительно характерную поэтическую ситуацию (которая, мы увидим, в поэзии Пушкина сохранится от ранних до самых последних стихов) и намекала на личную ситуацию самого поэта.

¹ «Вестник Европы», 1823, № 1, стр. 41—45. В цитатах курсивы принадлежат цитируемым авторам, разрядка всюду принадлежит автору настоящей статьи.

² В первом издании поэмы (1822) «изгнанной лиры пенье» было заменено на «пустынной».

³ «Сын Отечества», 1822, № 49, стр. 115.

Следующие стихи дают представление об особом, выделенном положении в тексте поэмы слова «свобода»:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,

С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

«Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX-го века»—объяснял Пушкин характер Пленника (письмо В.П. Горчакову, октябрь—ноябрь 1822; 13, 52)¹. Но с этим охлаждением к «счастью» сочетается пылкое стремление к «свободе». Разочарование во всем не сказывается лишь на страсти к свободе; напротив, когда потеряно все, она одна остается целью «в пустынном мире». Ища ее, герой покинул родной предел; но именно там, где как «друг природы» он думал найти свободу, он сразу ее потерял:

Все, все сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.

«Природа» и «свобода», таким образом, составляют в поэме повторяющееся созвучие. Они созвучны в мире естественной вольности, куда стремился герой поэмы, но в котором он очутился пленником². В этом новом положении он снова жаждет одной свободы, между тем как ею вокруг все полно: «Младенцы смуглые, нагие В свободной резвости шумят»; «Когда в горах черкес суровый Свободы песню запевал»; «Простите, вольные станицы» — это голос врага черкеса, казака, но жизнь его также определяется «волей». Эти «описательные стихи» Пушкин более всего ценил в своей поэме, признавая в то же время, что характер героя ему не удался: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d'oeuvre», — писал он В. П. Горчакову (13, 52). Эти картины «ни с чем не связаны», потому что герой поэмы внутренне с ними не связан; он с ними связан лишь

¹ Письма и статьи Пушкина цитируются по Полному собранию сочинений, изд. АН СССР, 1937—1950.

² Об этой ситуации см. в ст. В. Сандомирской «Естественный человек» и общество», «Звезда», 1969, № 6, стр. 187.

отрицательной ситуацией неволи, в которой он, друг природы, находится в этом мире природы и воли. Герой в поэме оказывается в таком положении, что его порывы к свободе не могут прийти в контакт и совместиться с окружающей его свободой горцев. Если последняя — это их реальная жизнь, то первые — это его идеальное устремление

«Но мир оказался вовсе не пустынным» — заметил Андрей Платонов о появлении Черкешенки перед Пленником¹. Она дарит ему свою любовь и вместе с нею необходимые жизненные предметы, самое перечисление которых, как это свойственно пушкинским перечислениям, рождает яркое впечатление полноты и роскоши мира: «Приносит пленнику вино, Кумыс и ульев сот душистый, И белоснежное пшено». Она зовет его к счастью «Свободу, родину забудь» Но Пленник имеет свои постоянные свойства, которые должны разделять его и Черкешенку без надежды. Эти постоянные качества характера: разочарование в счастье («Но поздно: умер я для счастья...») и стремление к свободе — при всех обстоятельствах. Наконец он освобожден Черкешенкой — и только здесь возникает новый мотив: «И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел». После этих несколько неожиданных стихов (см удивление Погодина) тем большим противоречием для читателей и критиков было отсутствие выражения чувств о гибели бедной девы: «освобожденный пленник шел» в последних строках, не оплакав ее. Очевидно, чувства к Черкешенке, как переменная величина, зависят у Пленника от неизменной величины — стремления к свободе

Ситуация поэмы построена таким образом, чтобы за этим стремлением героя сохранялось абсолютное значение. В любом жизненном контексте — и на родине, и на Кавказе — свобода является ценностью «вне контекста», целью, выводящей за этот контекст, этому соответствует исключительное положение слова «свобода» в поэтическом контексте. Когда Погодин ставил вопрос о том, при каких обстоятельствах и при каких отношениях свобода может составить счастье, — то самая постановка вопроса, при которой свобода оказывается обусловлена другим благом, остро противоречила идее свободы и самому звучанию этого слова в «Кавказском пленнике». Но эта критика возбуждала вопрос, который оставался открытым в итоге поэмы: вопрос о внутреннем наполнении той свободы, которую получает Пленник, если при этом он сохраняет свой комплекс разочарованности и охладелости ко всему, кроме самой свободы. Критике Погодина нельзя отказать в проницательности, ибо она выявляла именно ту проблему, которой суждено было в последующие годы стать одной из решающих в творчестве Пушкина; уже в «Цыганах» (1824) эта коллизия свободы и счастья получит значительно осложненное и углубленное разви-

¹ А. Платонов. Размышления читателя М., 1970, стр. 39

тие. Правда, и в «Кавказском пленнике» можно почувствовать некоторые относительные аспекты и противоречивые оттенки понятия свободы, которая является в тексте и «веселым призраком», и «гордым идиолом». Но все же эти обертоны покрываются основным тоном звучания этого слова: «Свобода! он одной тебя Еще искал в пустынном мире».

«Для любого поэтического словоупотребления решающим является контекст. Контекст — это ключ к движению ассоциаций. Но для рационалистической поэтики важен не столько контекст данного стихотворения, сколько внеположный ему нормативный и заданный контекст устойчивых стилей. Индивидуализация лирики означала торжество данного, единичного контекста. Значение этого контекста все возрастало начиная от 1820-х годов и вплоть до лирики XX века»¹.

Эволюция темы свободы и употребление этого слова Пушкиным показывает, как формируется индивидуальный пушкинский контекст, поэтический мир; и вместе с образованием этого мира «свобода» лишь постепенно становится вполне пушкинским словом (той особенной пушкинской свободой, о которой говорил Александр Блок в речи «О назначении поэта» в 1921 году). В ранней поэзии Пушкина это еще слишком общее и внешнее слово, принадлежащее «торжественному словарю» вольнолюбивого сознания первых двух десятилетий XIX века («А мой торжественный словарь Мне не закон, как было встарь», — скажет Пушкин в 1823 году в черновой рукописи первой главы «Евгения Онегина»). Этому общему идеологическому контексту, как его важнейшее знаковое слово, неизбежно довлечет «свобода» в поэтических текстах молодого Пушкина («Кипящей младости кумир» — как названа она в эпилоге «Руслана и Людмилы», 1820). Это слово с заданным значением и кругом ассоциаций, которые неизбежно выводят «свободу» из данного единичного текста и ставят как бы над ним. Слово это в меньшей мере определяется внутренними связями данного текста, нежели оно само по себе настраивает текст своим в нем присутствием и сообщает ему свой смысловой заряд. «Одно слово иногда освещает весь текст изнутри, включает окружающий текст в комплекс бурных стремлений свободного духа... И вот — свобода, кумир певца, окрашивает все стихотворение, потому что это — слово, окруженное ореолом значений и пафоса, потому что оно — символ и знамя, и оно определяет тональность всей вещи»². Слову этого типа принадлежит «суггестивно-распространительное значение»³.

Свободу лишь учась славить,
Стихами жертвуя лишь ей...

¹ Л. Гинзбург. О лирике. Л., 1964, стр. 97.

² Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1965, стр. 217—218.

³ Там же, стр. 180

— так юный Пушкин сказал об этом специфически-иерархическом положении «свободы» в стихах («К Н. Я. Плюсковой», 1818)¹. О том, что значит подобное слово в тексте само по себе, говорит, например, сожаление Пушкина по поводу цензурного исключения строки со словом «вольнолюбивые» («Вольнолюбивые надежды оживим») в его послании Чаадаеву 1821 г.: «оно так хорошо выражает нынешнее *libéral*, оно прямо русское... (13,32). По поводу же цензурных требований к «Кавказскому пленнику» Пушкин писал: «признаюсь, что я думал увидеть знаки роковых ее когтей в других местах и беспокоился — например если б она переменяла стих *простите, вольные станицы*, то мне было бы жаль» (13, 48). Подобное слово — термин-сигнал, который читателем узнается. Предпосылкой узнавания является то, что читатель знает контекст, которому принадлежит и в котором воспринимается такое слово: идейный контекст гражданского сознания, проступающий за текстом данного стихотворения или поэмы. В данном тексте на этот контекст может быть только намек («Но *те* в Неаполе шалят, А *та* едва ли там воскреснет»—1821); ср. в письме Пушкина Вяземскому (13 июля 1825) — о стихотворении «Андрей Шенье»: «Суди об нем, как езуит — по намерению» (13,188). Можно сказать, используя термин Ю. Лотмана, что подобное слово («свобода») крепится в тексте «внетекстовой связью».

1823 год был отмечен для Пушкина кризисом политических надежд, связанных с европейскими революциями, и это же время «совпадает с явно намечающимся переломом в его поэтическом пути»². Понятие об отношении свободы и жизни в целом именно в это время подвергается горькому пересмотру и серьезно осложняется («Демон»: «Не верил он любви, свободе»; «Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды»; «Рекли безумцы: нет свободы, И им поверили народы»³). Но в то же время новое значение начинает приобретать это слово в личном лирическом контексте поэта («моя свобода»):

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — зываю к ней...

В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) на вопрос, обращенный Поэту, что изберет он, «оставя шумный свет, И муз, и ветреную моду», он отвечает гордо: «Свободу». Книгопродавец дает полезный совет: «Наш век — торгаш; в сей век железный

¹ Но в движении этого стихотворения, в последних его строках, возникает «тайная свобода», к которой Блок в своей пушкинской речи 1921 г. возводит внутреннюю свободу в лирике позднего Пушкина.

² Б. Томашевский. Пушкин. Кн. I, изд. АН СССР, 1956, стр. 600.

³ Эти строки, представляющие парафразу библейского псалма («Рече безумен в сердце своем: несть Бог»), характеризует (как и стихотворение «Свободы сеятель пустынный...») статус «Свободы» как священного слова в том идеологическом контексте, который в этих пушкинских стихотворениях подвергается пересмотру. В этом контексте «Свобода» является «Богом».

Без денег и свободы нет». В устах Поэта «свобода» звучит абсолютно и независимо, книгопродавец ее возвращает Поэту как относительное понятие, включенное в жизненные зависимости. Книгопродавец же намечает здесь и то разграничение сфер внутренней и внешней свободы («Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать»), которое в дальнейшем получит развитие в стихах о поэзии второй половины 20-х годов и самое ясное выражение найдет в позднем стихотворении «Из Пиндемонти».

«Свобода» входит в связи реального мира, и вместе с этим перестраивается поэтический текст. В четвертой главе «Онегина» тот самый «торжественный словарь», который в ранней поэзии Пушкина звучит как его собственный прямой язык, изображается отчетливо как «чужое слово» Владимира Ленского:

Поклонник славы и свободы,
В волненьи бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их

II

Исходная ситуация поэмы «Цыганы» и подобна ситуации «Кавказского пленника», и сразу же от нее отличается. Алеко также бежал из «неволи душевных городов», где люди «Торгуют волею своей... И просят денег да цепей»¹. «Он хочет быть как мы цыганом». Но здесь — существенное отличие от Кавказского пленника, который рвался к свободе из своего кавказского плена и с дикой волей никак не сливался. Вспомним возражение Погодина: как друг природы он мог бы наслаждаться свободой и пастись табуны черкесские. В «Цыганах» как будто реализован именно этот план. Алеко, вода медведя, имеет всю полноту цыганской свободы. Он у цыганов не пленник и не чужой, он принят как равный и свой. «Презрев оковы просвещения, Алеко волен как они». На место внешнего противоречия свободы и неволи («Кавказский пленник») является в «Цыганах» внутреннее противоречие его свободы и их воли, в этой иллюзии слияния Алеко с цыганским миром.

С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденною красотою блещет,
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?

«Вольный житель мира» — это «торжественный словарь», знакомая нота, вызывавшая в аудитории немедленный отклик. Но здесь, в несобственно-прямой речи Алеко, это громкое слово звучит сложно, оно имеет скрытый второй план. Здесь это сло-

¹ Ср «Без денег и свободы нет» «Разговор книгопродавца с поэтом» написан в сентябре 1824 г., «Цыганы» кончены в октябре.

во — иллюзия, самовнушение и самообман Алеко. Контекст ситуации данной поэмы уже всецело определяет звучание этого слова. Чем громче оно произносится, тем больше оно выдает сомнение и тревогу: «Что ж сердце юноши грепещет?»

И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой —
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!

«Страсти» Алеко — его «судьба», которую он носит в себе, от которой «защиты нет». «Они проснутся: погоди!» В Алеко свершается спор судьбы со свободой воли.

Кажется, в жизни цыганов такого противоречия нет. Свобода их называется «воля», судьба называется «доля» (т. е. одновременно судьба и счастье) — и эти два слова традиционно рифмуются, образуют уравновешенную нерасторжимую пару. Рассмотрим два примера из разных концов поэмы:

Будь наш, привычки к нашей доле,
Бродящей бедности и воле
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли

Две эти пары стихов можно рассматривать как своего рода рамку, заключающую в себе все действие поэмы. В первом двустишии все слова дружно примыкают одно к другому; «бедность» гармонирует с «волеи» и «долей» (в черновых примечаниях к «Цыганам» Пушкин писал о «дикой вольности, обеспеченной бедностию» — 11,22); гармоническое единство закруглено рифмовкой главных понятий: это завязка действия. Второе двустишие — развязка, и во внутренней структуре этой второй пары стихов запечатлелся уже результат вторжения Алеко в цыганский мир. Основные понятия также рифмуются гармонически, но равновесие восстановлено через преодоление нарушения, внедрившегося внутрь стихов отрицанием «не» и этим обособлением — «для себя лишь»; эти противоречащие элементы, раскалывающие единство, словно изгоняются им, выгалькиваются крепостью традиционной и гармонической рифмы.

Итак, для себя лишь воля Алеко — начало противоречия и разлада; с цыганской точки зрения это несовместимое сочетание слов. Но с другой стороны — с точки зрения Алеко — его человечески развитое чувство не примиряется с анархией «первобытной свободы» (определение Пушкина из «Примечаний к «Цыганам» — 11, 22). В ситуации поэмы индивидуальная и коллективная точки зрения освещают взаимно одна другую. Индивидуальная точка зрения также бросает свой свет на неполноту цыганской правды. Цыганская «воля», внутри себя проблемная, проблематизируется этим контактом с чуждым ей началом и остается понятием безусловным только в рамках строя жизни и сознания цыганов. В поэме идет спор вокруг основных понятий (этому соответствует фрагментарное и драматизованное повествование) — таких, как «свобода» («воля»), «слава»

(«Скажи мне, что такое слава?»), «счастье», «страсти», «судьба». Эти понятия проблематизованы в тексте «Цыганов»; они ставятся в разные отношения и изменчиво освещаются. Для «внетекстовой» абсолютной «свободы», непротиворечивой и беспроблемной, в этой поэме Пушкина уже не остается места¹.

Какова цыганская воля («не свобода, а воля»²)? Старик говорит Алеко: «Останься до утра... Или пробудь у нас и доле, Как ты захочешь... Примись за промысел любой...» Безбрежная, полная воля, где каждый не ограничен никем и не может другого ничем ограничить. Не только образ жизни цыганов, но и сами человеческие отношения имеют «кочевой», принципиально незакрепленный характер. Алеко не нравится песня Земфиры: «Я диких песен не люблю» — в ответ он слышит: «Не любишь? мне какое дело! Я песню для себя пою». Алеко сердится—«Ты сердиться волен». Он волен сердиться, она вольна сердить его, он волен ее любить, она вольна его не любить. Образ этого внешнего и внутреннего поведения — «кочевой» образ «вольной луны», что гуляет по небосклону, мимоходом равно на все проливая сияние и не задерживаясь на чем-то одном. «Кто сердцу юной девы скажет: Люби одно, не изменись».

Но Алеко именно просит Земфиру: «Не изменись, мой нежный друг...» Он хочет привязанности, человеческого прочного чувства, которое связывает одного человека с другим и тем самым собой представляет ограничение «воли»³.

Кто же оказывается Алеко рядом с Земфирой, желая от нее ограничения ее «естественного права» ради своего человеческого права? Он становится «старый муж, грозный муж» и уже представляет перед Земфирой тот принудительный порядок, от которого сам бежал. «Его преследует закон» при его появлении в таборе, а перед цыганской вольной луной сам он как «старый муж» олицетворяет право, закон («Я не таков. Нет, я не споря От прав моих не откажусь»). Этот Алеко в глазах Земфиры (а вместе с нею и в наших глазах) противоречит другому Алеко, его иллюзорной ипостаси «вольного жителя мира». При этом

¹ Не случайно, повидимому, в тексте поэмы не оказалось места монологу Алеко над колыбелью сына, который Пушкин писал уже после окончания поэмы; здесь как раз царит «свобода» как абсолютное слово: «Прими привет сердечный мой, Дитя любви, дитя природы И с даром жизни дорогой Неоцененный дар свободы!» Алеко в этом монологе является идеологом руссоистски окрашенной первобытной свободы-воли. В монологе Алеко снимается его противоречие с цыганским миром и вообще снимаются противоречия, развивающие поэму; возможно поэтому окончательный текст ее не вместил этого монолога.

² Это слово Толстого («Живой труп», Федя Протасов о цыганской песне), сказанное три четверти века спустя, очень уместно при разговоре о пушкинских «Цыганах».

³ Эта «связанность» человека счастьем позднее найдет выражение в черновых строках письма Онегина Татьяне (1831):

Привычке милой не дал ходу,
Сменить постылую свободу
На узы счастья не хотел (6, 516—517).

«старый муж» не перестает быть «юношей». В поэму вселяются и оформляют ее изнутри относительные аспекты, жизненная многоликость и противоречивость отражается в построении текста поэмы.

Существует традиция в приговоре Старого цыгана: «Оставь нас, гордый человек.... Ты для себя лишь хочешь воли» — видеть идею поэмы. Так понимал идею «Цыганов» Белинский, а позднее — Достоевский. Заметим, однако, что это суждение принадлежит не автору, но персонажу, одному из участников действия и диалога.

В строении текста «Цыганов» это обстоятельство уже гораздо более существенное, нежели в «Кавказском пленнике», где почти не было дистанции между речами двух основных героев и прямым авторским словом. «Истина» поэмы «Цыганы» в гораздо большей степени распределена в композиции текста и не может быть взята с его поверхности в виде однозначного итога; она скорее собой представляет открытое противоречие.

Суждение старика об Алеко обладает действительно большим смысловым весом как завершающее суждение; однако все же оно не завершает еще всей поэмы. Поэма шире этого итога. Если заключение старика об Алеко истинно, то оно не единственно истинно. Не оно заканчивает «прения сторон» в поэме, еще не оно — ее последнее слово. В эпилоге поэт уже от себя обращается прямо к цыганам, словно им отвечая на их последнее слово: «Но счастья нет и между вами, Природы бедные сыны!..» Эта реплика эпилога обращена ко всему предыдущему тексту, она продолжает диалог «Цыганов»¹. Вслед за решением, кажется окончательным, эта реплика открывает снова и оставляет открытым противоречие цивилизации и природы, свободы и счастья. «Поэма противоречит самой себе» — можно было бы сказать словами И. Киреевского о «Цыганах» (Киреевский единственный среди первых критиков поэмы усомнился в цыганском «золотом веке» как идеальной нравственной позиции и источник противоречия видел не только в Алеко, но и в цыганах²).

¹ Старый цыган говорит о воле, поэт в эпилоге как будто бы «нелогично» ему отвечает о счастье. Но этим самым «воля» и «счастье» связываются в единую проблемную ситуацию поэмы, которая остается «недоуменно» открытой. Последнее определение мы заимствуем из работы «Недоуменные мотивы в поэмах Пушкина» (неопубликована) М. И. Кагана, в которой ранние пушкинские поэмы углубленно рассмотрены с нетрадиционной точки зрения, подобное разрешение ситуации автор работы называет «трагически недоуменным».

² И. В. Киреевский. Полное собрание сочинений, т. II, М., 1911, стр. 8—9.

III

Можно сделать следующее наблюдение: в пушкинской поэзии последнего десятилетия (после 1825 года) значительно уменьшается частота употребления слова «свобода» (и производных, а также синонимичных слов), зато повышается собственно пушкинская содержательность этого слова, оно вполне становится словом индивидуального пушкинского поэтического контекста. Эта истинно пушкинская «свобода» вполне самоопределяется в принципиальных стихах о поэте и обществе второй половины двадцатых годов («Как ветер песнь его свободна», «Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум»); она почти совпадает с самой поэзией, творчеством, и можно почувствовать, что именно в картинах творчества в зрелой поэзии Пушкина этот эпитет «свободный» высказывается с особой свободой («И даль свободного романа», «Излиться наконец свободным проявлением... Минута — и стихи свободно потекут»).

Стихотворение «Из Пиндемонти» (1836) — это размежевание внутри самого понятия «свобода»: «И мало горя мне, свободно ли печать Морочит олухов... Все это, видите ль, слова, слова, слова... Иная, лучшая потребна мне свобода...» Здесь имеет значение то, что «словам» противопоставлена сама реальность «свободы», как будто требующая уже какого-то иного или обновленного, освеженного слова («Иная, лучшая потребна мне свобода...»). Как заметили Ю. Лотман и З. Минц, это размежевание «сродни будущему толстовскому «не свобода, а воля»¹: «По прихоти своей скитаться здесь и там...» Об этом стихотворении Блок записывал в дневнике, готовя свою пушкинскую речь: «Он опять говорит о какой-то «иной свободе» и определяет ее:

никому

Отчета не давать, и т. д. ...

Эта свобода и есть «счастье». «Вот счастье, вот права!»². Блок возводил эту внутреннюю и творческую свободу—волю—счастье в стихотворении 1836 года к «тайной свободе» молодого Пушкина в стихотворении 1818 года.

В черновом тексте «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833—1834) в изображенном здесь диалоге с англичанином-путешественником «свобода» определяется через «волю», из чего следует вывод об отсутствии такой свободы в реальной действительности: «О н. Что такое свобода? Я. Свобода есть возможность поступать по своей воле. О н. Следственно, свободы нет нигде, — ибо везде есть или законы, или естественные препятст-

¹ Авторы статьи определяют «волю» (в этой антитезе) как жизнь «по законам счастья и искусства» (Ю. Лотман и З. Минц. «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока». «Блоковский сборник», Тарту, 1964, стр. 113).

² Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, М.-Л., 1963, стр. 403.

вия» (11,231). В то же время такая свобода-воля есть для Пушкина идеал поэтического поведения. «Не свобода, а воля», которую Пушкин изображал в «Цыганах», сохраняется для него как непреходящая ценность, хотя сами «Цыганы» остаются позади¹. Сохраняющаяся же ценность словно перемещается в другой контекст: это уже не характеристика жизненного уклада цыганов, который все же изображался поэтом со стороны, — но внутреннее состояние самого поэта². Это расставание с прошлым, с удержанием из него главной ценности, которая переносится в иной контекст («в обитель дальнюю трудов и чистых нег») — в стихотворении «Цыганы» (1830):

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.

Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины³

¹ В поэме тридцатых годов «Езерский» вновь возникает напоминающее о «вольной луне» из «Цыганов» «сердце девы», уподобленное природным образам—ветру, орлу, и той же луне:

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.

Но главным членом этого уравнения теперь является поэтическая свобода-воля:

Гордись: таков и ты поэт,
И для тебя условий нет.

Интересно сопоставить с этой пушкинской строфой противоположную концепцию природного миропорядка в стихотворении Баратынского «К чему невольнику мечтания свободы?» (1833):

...Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветер не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.

Этой природной закономерности драматически противопоставлены у Баратынского человеческие «страсти», также произвольные («...не она ль, не вышняя ли воля Дарует страсти нам?»), что и составляет глубину и драматизм конфликта. (Ср. позднейшее тютчевское: «Душа не то поет, что море»).

² Другой вариант «не свободы, а воли» у позднего Пушкина дают в «Капитанской дочке» слова Пугачева: «Улица моя тесна; воли мне мало».

³ Ср: за шесть лет до этого подобное расставание со своей прежней поэтической эпохой («Прощай, свободная стихия!»), с перенесением сохраняющейся из нее ценности в иной контекст:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн

С морем Пушкин прощается уже из Михайловского. Это одновременно новый природный, биографический и поэтический контекст (в том числе и для слова «свобода», которое постепенно ~~выживает~~ из «торжественного словаря», где символами свободы как раз были море и близкие образы: «Где ты, гроза—символ свободы?» — 1823).

Последние строки перекликаются с «покоем и волей» в стихотворении 1834 года. Но «чистые неги» — не бытовая данность, ибо в эту обитель покоя и воли тоже замышлен «побег». При этом «покой и воля» и «счастье» противоречат одно другому — в отличие от идеала свободы-воли, которая и есть счастье («Из Пиндемонти»). Проекция идеала в реальную жизнь порождает противоречие и разрыв: реально («на свете») не совмещается то, что совмещается в идеале¹; возникает ситуация неизбежного выбора, который, однако, никак не предопределен.

Поэтические формулы, выражающие эту ситуацию, образовывались у Пушкина в работе над текстом последней главы «Евгения Онегина». В письме Онегина Татьяне:

Нужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастьем. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан...

Но здесь же ответом на этот выстраданный Онегиным опыт является жизненный выбор Татьяны:

Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна².

Она получила цену счастья («А счастье было так возможно...»), кажется, то, что Онегин теперь готов за «узы счастья» отдать. Но, конечно, достигнутые такой ценой «покой и воля» Татьяны никак не тождественны «вольности и покою» прежней жизни героя, ничего ему не стоившим и ныне «постылым». Таким образом, эта формула жизни, «формула мыслей и чувств»³, в том и другом случае имеет неодинаковое значение и, можно сказать, различную ценность — в контексте прежней жизни Онегина и в новом жизненном контексте Татьяны.

¹ «От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью...» (письмо П. А. Плетневу 31 августа 1830 — 14, 110). В другом письме того же 1830 года (оригинал по-французски): «Но счастье... это великое бы т ь м о ж е т, как говорил Рабле о рае или о вечности. Я атеист в отношении счастья; я в него не верю...» (14, 123). Здесь интересно, что «счастье» помещается в священный контекст (вспомним «свободу» в подобном контексте: «Свободы сеятель пустынный», «Рекли безумцы: нет свободы...»).

² Первоначально в беловой рукописи восьмой главы (осень 1830): «Сидит небрежна и вольна» (6,626). Письмо Онегина создано годом позже (октябрь 1831). В окончательном тексте имеет значение и общность понятий, которыми связаны и соизмерены судьбы обоих героев в самом их окончательном разминовении, и в то же время нетождественность выражения, эта инверсия главных понятий («вольность и покой» — «покойна и вольна»), дающая в разных синтаксических и стиховых условиях две ритмически различные формулы. Формула состояния Татьяны довлеет себе и сопровождается — и синтаксически и по существу — завершающей точкой (завершающей при этом целую строфу); в потоке речи Онегина «вольность и покой» повисает в enjambement, никак не довлеет себе, но преодолевается, как бы снимается бурным стремлением речи прочь от этой былой цели к иной ценности — к «счастью».

³ «Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств» (из «Застольного слова о Пушкине» А. Н. Островского 7 июня 1880 г.).

Строки из письма Онегина Татьяне уже не раз были сопоставлены в критике со строкой — «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Кажется, опыт Онегина последней главы и опыт самого поэта 1834 года отрицают друг друга (и в то же время строка 1834 года, очевидно, восходит к характеристике Татьяны в последней главе). Но то и другое поэтическое высказывание в равной степени и вполне убедительно каждое в своем контексте. В этом все дело — в своем контексте, в своем отношении, в своей ситуации. Та и другая истина — это аспект, относительная истина полного пушкинского мира; но в этом или другом жизненном повороте она становится для человека целостной истиной его жизни. В плане словоупотребления подобной картине мира соотноствуется решающее значение индивидуального, данного, единичного речевого контекста. Пушкин писал в статье, напечатанной в «Современнике» в 1836 году: «разум неистощим в соединении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» (12, 100)¹. Пользуясь этими пушкинскими понятиями, можно сказать, что то и другое поэтическое высказывание, в письме Онегина и стихотворении 1834 года, — не «мысль отдельно», но именно «мысли», которые «могут быть разнообразны до бесконечности». Они совмещаются, не отрицая друг друга, в пушкинском поэтическом мире.

«Счастье» и «воля» совмещены в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» (1833) — однако в особом контексте:

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я...²

Таким счастливым и вольным был бы безумец³, и только в предполагаемой ситуации: «Когда б оставили меня На воле...» Реальная ситуация — совершенно иная: «сойди с ума, И страшен будешь как чума, Как раз тебя запрут...»

¹ Первоначальная формулировка этих мыслей относится еще к концу 20-х годов (см. 11, 59). Ср. эту пушкинскую мысль с записью Блока 13 июля 1917 года: «Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое» (Александр Блок. «Записные книжки 1901—1920». М., 1965, стр. 378).

² Интересен, с точки зрения нашей темы, процесс работы над этими строками. В первоначальном варианте второму стиху соответствовало:

И я глядел бы думы полн.,

— четвертому:

Силен, безумен был бы я... (3,937).

Таким образом, «счастье» и «воля» вместе вошли в окончательный текст стихотворения и образовали в нем свою ситуацию, заменив другие понятия («волен» при этом стало на место «безумен»).

³ В. Непомнящий обратил внимание на то, как поведение безумного в этом стихотворении близко поведению истинного поэта в стихотворении 1827 года «Поэт» («Вопросы литературы», 1965, № 4, стр. 133).

«Неволя была, кажется, Музою-вдохновительницею нашего времени». Вспомним еще раз эту фразу Вяземского из статьи о «Кавказском пленнике». Мы можем измерить пройденный Пушкиным путь, рассматривая, как эта общая ситуация воплощается в конкретном тексте поэтического произведения. Остановимся на четверостишии, оставшемся в бумагах Пушкина и предположительно датированном 1836 годом¹; следовательно, оно относится к последним стихам Пушкина:

Забыв и рошу и свободу
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду
И песнью тешится живой

Это четверостишие определяется в комментариях как «отрывок», «набросок» — однако оно существует законченно, настолько внутри этих четырех строк внедрилась проблема, сама по себе «незаконченная», открытая. Четверостишие побуждает вспомнить о кишиневском пасхальном стихотворении 1823 года:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны

Я стал доступен утешенью,
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Здесь ситуация ясная и светлая. «Неволе» ясно и однозначно противостоит «свобода» (в гармонии со «светлым праздником весны»); эти понятия противопоставлены и идеально в контексте вольнолюбивого сознания. Слово «свобода» не столько входит во внутреннее отношения данного текста, сколько приносит в текст свой ореол значений, сообщая стихотворению расширительный смысл (не только освобождение птички).

Вспомним теперь в «Цыганах» вставной фрагмент про «птичку Божию», чье легкое существование противопоставлено трудной жизни людей:

Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны

«Птичка Божия» — аллегория жизни цыганов: это их беспроблемная жизнь по солнцу. Но эта птичка уже поставлена в тексте сложно. Она ведет за собою сравнение с Алеко, как он живет «цыганом», «вольным жителем мира»: «Подобно птичке беззаботной...» Но в каждом слове этой идиллии, мы знаем, есть скрытый ее подрывающий план. Неизвестно, чьим голосом произносится или поется «птичка»: это вставной номер, «отбитый» от ав-

¹ Обоснование — в посвященной этому четверостишию заметке В. И. Срезневского («Пушкин и его современники», вып. XXXVI, 1923, стр. 42—43)

торской речи, но не прикрепленный ни к какому другому голо- су, — словно песня за сценой, звучащая для Алеко, в под- держку его иллюзии. «Птичка Божия» провоцирует для Алеко такую идиллию, в которой все слова представляют собой самооб- ман Алеко, — что, кажется, она провоцирует взрыв: «Давно ль, надолго ль усмирили? Они проснутся: погоди!»

Вспомним также по связи с чижиком 1836 года еще иные бо- лее ранние образы «птички» у Пушкина:

Не увижу я прелестной
И как чижики в клетке тесной
Дома буду горевать
И Наташу вспоминать.
(«К Наташе», 1815.)

Так в сетке птичка, друг свободы,
Чем больше бьется, тем сильней,
Тем крепче путается в ней.
(Из Ариостова «Orlando Furioso», 1826.)

Этот образ, как видим, сопровождает поэта всю его жизнь. В двух последних примерах сохраняется ясное противоречие не- свободы — свободе и счастью. Теперь мы возвратимся к четверо- стишию «Забыв и рощу и свободу» и убедимся в том, насколько более сложная здесь ситуация.

Здесь, вообще говоря, тоже — противоречие свободы и не- воли. Но это—вообще говоря, а реально, в тексте мы находим со- всем не такое однозначно-ясное отношение. Неволья и свобода здесь как-то более сложно связаны, переплетены и даже взаимо- превращены. Конечно, абстрактно выделенные из текста, следу- ющие одно за другим слова «свободу» — «невольный» составля- ют прямую антитезу; но в том-то и дело, что в стихотворении этого идеального отношения как такового нет. Оно погружено в ситуацию жизни, в реальные связи данного текста. В идеальном контексте «роща», «свобода», «песня живая», сама «птичка» («друг свободы») — это символы одного ряда, которые не могут смешаться с символами «неволи»¹. А «невольный чи- жик» в этом стихотворении Пушкина «песнью тешится живой». («Тешится» — близко «прихоти» в «Из Пиндемонта»). «Зерно клюет и брызжет воду» — очень яркие образы жизни, и именно жизни привольной и полной, окружают невольного чижики, яв- ляясь его атмосферой, — и это при том, что свобода и роща за- быты. В неволе живут как на воле, о ней забыв, — вот в чем про- тиворечие, вот где загадка. В таком повороте, в таком контексте предстали свобода и счастье. Мы имеем в тексте реальную с и т у а ц и ю, отражающую осложненный и углубленный опыт —

¹ Например, в известном стихотворении Ф. А. Туманского (1827) — «птичка», «певица», «роща», «свобода» — в одном ряду:

Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей,

одновременно жизненный и поэтический—позднего Пушкина¹. Готовые понятия идеального контекста здесь уже не могут господствовать в тексте как некие абсолютные слова. Здесь требуются развитые внутренние отношения текста, которые бы стали аналогом ситуации, «миром». И мы можем сказать, что четверостишие «Забыв и рощу и свободу», без натяжки, есть поэтический мир, независимо от своей краткости.

Сказанное не значит, что «свобода» как идеальное содержание устраняется реальным построением текста. Но изменяется способ существования в поэтическом тексте этого идеального содержания. Невольный чижик соотнесен со свободой и рощей иначе, чем с песнью живой, а свобода и песня разведены по разным мирам. Но разве не тем острее мы видим их должное соотношение? В этой идеальной перспективе мы только бы воспринимаем эту реальную ситуацию во всем ее реальном значении, которое не может быть понято однозначно. Ибо мы чувствуем в этом контексте песню живую и как живую силу, и как горькую иллюзию. Идеальное проступает в реальном как глубинная перспектива, внутренний свет.

¹ Строение текста может служить аргументом—вместе с внешними данными, обследованными в указанной заметке В. И. Срезневского, — за то, чтобы отнести четверостишие к поздним стихам Пушкина.

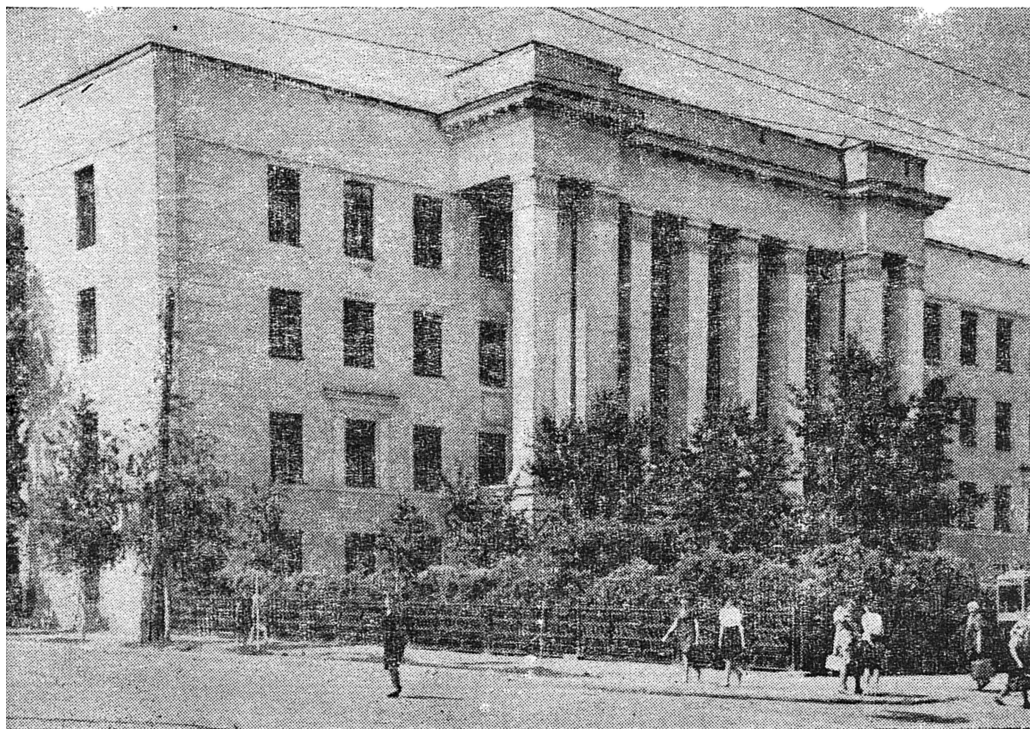
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА

КАФЕДРА РУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Сборник статей)



САРАНСК
1973